

INSPIRIA



«НЕЖНЫЙ НОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ РОМАН
О ЛЮБВИ ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ»

Дина Ключарева, Wonderzine

МОЙ К С Е Н И Я Б У Р Ж С К А Я И Ч У Ж Д А



INSPIRIA

Ксения Буржская

Мой белый

Серия «Loft. Современный роман»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=63624346

Мой белый:

ISBN 978-5-04-118090-4

Аннотация

Если смешать все оттенки видимой части цветового спектра, то получится белый. Цвет снега. Цвет рамочки полароида. Цвет флага, который выбрасывают, если сдаются, потому что больше нет сил выдерживать боль или любовь, нет сил надеяться. Старшеклассница Женя связывает с белым цветом самые драгоценные моменты своей жизни – когда ее мамы были вместе, и в их общий дом еще не пришла измена; когда на белоснежных листах бумаги она писала новые и новые письма музыканту Лене, чувства к которому захватили все ее существо. Человеческая близость, человеческое счастье – есть ли что-то более хрупкое? Даже первый снег, кажется, лежит на земле дольше.

У книги Ксении Буржской есть волшебное свойство – после ее прочтения начинаешь острее чувствовать кожей прохладные потоки счастья и то, как они день за днем безвозвратно тают в ежедневной суете. Да, ничего нельзя вернуть или удержать, но можно вовремя нажать на кнопку «внутреннего полароида».

Это роман о любви, где все любят всех: девочка – мальчика, женщина – женщину, дочка – своих матерей... (Татьяна Толстая)

Нежный ностальгический роман о любви во всех ее проявлениях (Дина Ключарева, Wonderzine)

«У Ксении Буржской отточенное и дерзкое перо. Она владеет им, как высококлассный фехтовальщик – рапирой. Ее слова-уколы всегда точны, мгновенны и в самую точку. Читателя она не щадит, как, впрочем, и своих героев. Роман «Мой Белый» – тайная рана, которая на самом деле никогда не пройдет, не заживет. Конечно, проблемы, о которых пишет Буржская, требуют предельной бережности и деликатности. И ей это удаётся – быть одновременно деликатной и дерзкой, бесстрашной и стыдливой, ранящей своей ироничной наблюдательностью и тут же бросающейся спасать своей нежностью и ласковой заботой». (Сергей Николаевич, главный редактор журнала «Сноб»)

Содержание

Предисловие	6
Глава 1	8
Глава 2	12
Глава 3	18
Глава 4	22
Глава 5	28
Глава 6	32
Глава 7	37
Глава 8	41
Глава 9	46
Глава 10	50
Глава 11	57
Глава 12	61
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Ксения Буржская

Мой белый

© Буржская К, текст, 2021

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

Предисловие

Ксения Буржская написала маленький ослепительный роман, ослепительный в буквальном смысле: столько в нем слепящего солнца, столько слепящего снега, столько белизны, столько воды. И вспышки фотоаппарата, запечатлевающего мгновения жизни.

Дороги, города, снегопады, пляжи, коробки с вещами, поезда, запахи гвоздики и дыма, «сосульки, как бороды лесных царей», рыбы и острова, и снова дороги. И письма, письма, письма,

Это роман о любви, где все любят всех: девочка – мальчика, женщина – женщину, дочка – своих матерей, и вот уже всё смешалось, и вот уже не различить, кто кого любит и кто кого сводит с ума, потому что тут во всю силу звучит, и поет, и поднимается к темному, заснеженному, набухшему тучами небу чистый голос того высокого, того невыразимого чувства, торжества, экстаза, стремления, рвения, счастья, смешанного со страданием, но никогда, никогда не спускающегося в низины нытья, канюченья и вялой депрессии.

В этом романе много слез, но нет горя. В этом романе много разлук, но нет пустоты и отчаяния.

Всё – на взводе. Всё – на взведенном курке. Все – на натянутой тетиве. И – да, ружье стреляет; да – стрела вылетает и пронзает сердце, и одно, и другое, и третье, или что ей там полагается пронзать, но никого не убивает, потому что всё это – радость. Все это – торжество жизни. Все это – любовь. Огромная охапка снежных роз. И солнце.

И никто никогда не умрет.

Татьяна ТОЛСТАЯ

Те, кто любили нас, ничему нас не научили.

Нас всему научили те, кто нас не любили.

Линор Горалик. Три текста

Глава 1

Вера

Моя мать любила не меня. Я отвечала ей тем же: мы обе были влюблены в одну и ту же женщину по имени Вера, крепкую и уверенную в своей правоте, нервную, как натянутая струна, и сильную, как мистраль. Возле нее мы обе ощущали себя спокойно, засыпали лучше всего, прижавшись к ней, и сны нам снились одинаково безопасные. Глядя на родителей, я часто думала о том, как такие непохожие люди могут быть вместе. Они умели радоваться миру: мы много путешествовали, даже чересчур. С самого дна своего детства, там, где заканчивался живот и начинался воздух, я помню себя в самолетах, автомобилях и поездах, в постоянном движении сквозь белое туманное пространство, насквозь испещренное косыми солнечными лучами. Мы были дорогой, постоянно убегавшей от себя. До восьми лет я знала, кто я и чего мне ждать. Каждый год мы переезжали: собирали вещи, запихивали их в машину и ехали. Я научилась спать в гостиничных номерах между матрасами: кровати сдвигали, и я забиралась между мамой и Верой, чтобы почувствовать себя в гнезде. Мама и Вера – вместе – были моим единственным настоящим домом.

Мы катались на лыжах, рассматривали картины в музеях

Италии, жили на старой ферме с гусями и в трейлере на колесах, плавали на острова, ныряли со скал и глазели на рыб в огромных аквариумах. Мама и Вера казались мне воплощением свободы, но совершенно не были ею.

Абсолютно свободной от предрассудков случайно, как будто это побочный эффект их воспитания, стала я.

Мама ничего не понимала в маленьких людях. Иногда мне казалось, что она сама – такой же ребенок, так нелепо и непоследовательно она себя вела. Она могла вдруг обидеться на какую-то мою детскую игру и со злостью уйти в себя. Тогда я стояла и просила ее простить меня, взять меня на руки. Она прощала, но через минуту снова просила меня прекратить, что бы я ни делала, и сесть смирно, чтобы не мешать ей сосредоточиться.

Мама писала картины и могла долго сидеть перед чистым холстом: сложнее всего начать. Вера отчего-то была строгой с мамой и мягкой со мной. Она разрешала мне все, и просить сладости после ужина я бежала именно к ней. Они были как добрый и злой полицейский, и я не представляла, что значит потерять кого-то из них. Не понимала я и причин этой мягкости: в том, что Вера не может иметь детей, не было нашей вины, но мама все равно чувствовала себя виноватой, поэтому делилась мною больше, чем следовало.

В итоге мне было проще с Верой, по крайней мере до тех пор, пока она не ушла. После этого мне стало сложно с ними обеими.

Каждый наш переезд из дома в дом был бегством – такое впечатление, что мама и Вера пытались найти свое место, общее на двоих, но из-за того, что ничего общего между ними не было, сделать это было не так-то просто. Там, где хорошо одной, не нравилось другой. Вера была более настойчива, а мама – категорична в своих суждениях, и если уж маме не нравилось что-то, то она даже не делала попытки принять. А если Вере не нравилось – мы просто собирали коробки. В нашей семье было одно правило переездов – каждый берет с собой на новое место только одну коробку. Коробки Вера покупала на почте и приносила толстой стопкой гладкого картона. Потом мы складывали их, и картон обретал объем. Вера говорила, что так в самолете надуваются подушки для сна – разреженные молекулы воздуха становятся больше.

Между мамой и Верой воздуха всегда было мало. Я залезала к ним утром в постель, и они начинали целовать меня, мне это нравилось больше, чем когда они целовали друг друга. В своем праве на владение обеими я была абсолютно уверена. Они сдавались без сопротивления. Коробки были слишком малы для моих сокровищ. Вера категорически запрещала мне брать «лишнее»: во-первых, у нас была только одна машина, во-вторых, это «лишнее». Я никак не могла понять, откуда она знает, что лишнее, а что нет. Мама понимала, что все – нужное, но переубедить Веру не могла. Она и сама расставалась с дорогим сердцу хламом, однако фотографировать вещи, которые не уцелеют, придумала я.

На пятилетие мне подарили полароид, чтобы он стал моей дополнительной коробкой – для еще восьми вещей по числу карточек в картридже, но половину я всегда тратила просто так. Мама поначалу помогала мне снимать, выстраивала кадр, учила разбираться в композиции, но я не планировала заниматься искусством. Часто у меня просто не было времени подумать над кадром – я забирала в свою коробку памяти не только собственные «лишние» безделушки, но и чужие – вещи, которые мне хотелось бы иметь или те, что нельзя сохранить: нужно съесть или оставить. Я снимала города и квартиры, из которых мы уезжали, свою кровать, где бы она ни находилась, обувь, из которой вырастала. Я сняла рваную футболку с пчелкой и коробку от хлопьев. Я сняла собаку моей бабушки – рыжую с подпалинами, чужого надувного крокодила на пляже, шлюпку на большом круизном корабле, воду в душе, которая исчезает в сливе, шоколадный королевский пирог с сюрпризом, который мне так и не достался, маму, которая целует Веру.

Глава 2

Снег

На самом деле начать нужно было иначе. Меня зовут Женья, мне шестнадцать. Я люблю худрука нашего музыкального кружка, его зовут Леня. Моя мама и моя вторая мама, Вера, не живут вместе уже восемь лет. Они расстались друг с другом, но не со мной. Потому что я их общее произведение. Вера – та, кто дает вам надежду и делает материнство возможным. Она это сделала для моей мамы. И для себя.

Через месяц у меня новогодний концерт. У нас: у меня и Лени. Я не жду, что мама и Вера – они обе – придут на него. Если честно, мне вообще все равно, придет ли хоть одна из них. Для меня важнее всего, чтобы Леня меня увидел. Хочу ему нравиться, вот и все. Просто хочу ему нравиться.

Сейчас декабрь, а снега все еще нет. Возможно, это связано с глобальным потеплением, хотя с физикой у меня не очень, и я не до конца понимаю, что это значит.

В субботу я решила поехать на старую дачу. Это просто: я говорю маме, что еду к Вере, говорю Вере, что к маме, а сама в электричке еду. Как в мультфильме про Простоквашино. Если бы у меня была другая жизнь, я бы провела ее здесь. Например, с Леной. Я знаю, что мама и Вера будут сверять мое алиби, только если я исчезну, потому что предпочитают

не разговаривать без повода. Но я не планирую исчезать. Я взяла пиццу, пиво, коробку с памятью и инструкцию «Как разжечь камин». Я скачала ее из интернета и распечатала на принтере. До сих пор я никогда не разжигала камин самостоятельно, но теперь этот день настал. Хочется сказать, что я стала взрослой, но нет. Просто захотелось приехать сюда и подумать. Или, наоборот, – потупить. Когда тебя переполняет любовь, хочется бегать из угла в угол, чтобы она расплескалась, а потом упасть и лежать – опустошенной. А потом снова бегать. Любовь накатывает волнами, и быть дома в этот момент невозможно.

Приехала и села на заваленные прошлогодними листьями ступени: ни облачка, ни души. В моем рюкзаке зубная щетка, трусы, майка для сна, толстовка и две тетради для писем Лене. Я могла бы писать их прямо в телефоне, но для него это слишком холодное время. Он может внезапно выключиться, матери до меня не дозвонятся, и начнется переполох. Хотя, возможно, им было бы полезно встретиться и поговорить, но вряд ли это будет эффективно. Мы уже несколько лет не бываем на старой даче.

Этот дом был подарком Веры – она хотела, чтобы у мамы была мастерская подальше от людей, поближе к природе. Думаю, Вера просто хотела спрятать ее подальше от цивилизации. Что ж, она просто немного не успела. Маме всегда было сложно противостоять соблазнам, особенно если их можно писать. В общем, мама не хотела ездить на дачу, потому что

это напоминало ей о том, что этот дом так и не стал семейным домом счастья. Как будто дом виноват, что на него возлагали какие-то надежды. Это обычный дом, если подумать: веранда, две спальни и несколько сосен на участке. А чего они ждали вообще? Странно, что его до сих пор не продали. просто не поднимается рука.

И вот – я на лестнице. В моей коробке – триста фотографий, триста самых важных вещей, которые я не смогла с собой взять никуда, кроме памяти. Мое сердце – музей пропавшего. Еще одна коробка для всякой ерунды.

Я открываю коробку, и ветер тут же забирается внутрь и принимает форму прямоугольника. Я захлопываю крышку вместе с ним, чтобы он не унес мое золото. Подношу ее к уху и слышу, как он скребется и дует на стенки. Вспоминать здесь опасно, но я аккуратно просовываю руку в щель и наугад достаю фотографию. На ней ярко-желтые «сочные» резиновые сапоги – мне семь, мы приехали в Амстердам на выходные, и с неба льют бесконечные ливни. Бесконечные ливни преследовали нас и в Лондоне, озябшей зимой, когда я впервые пошла там в школу, в свой первый класс, и Вера, работавшая полгода по контракту в английской клинике, сказала мне, что я должна не бояться говорить по-английски, а говорить – это важно. Чтобы тебя понимали. Она повторяла со мной слова: это стол, это стул, это одеяло, а мама наклеивала на окно ярко-розовую наклейку: window. На двери висел зеленый стикер «дверь». Я ходила по дому, и вокруг

меня стояли слова, слова преследовали меня, и только под одеялом (the одеяло) я могла бы отдохнуть от слов, но вместо этого они затекали ливнем мне в голову.

Каждый четверг мы ходили в музеи. По мне, так музеи всего мира одинаковые, и к семи годам они все слились в один бесконечный музей – картины справа, картины слева, я прохожу бесплатно. По субботам мама водила меня в русскую школу (у нее был бзик, что я ни в коем случае не должна забывать русский, который у меня так и не будет шанса забыть), и скучные уроки тянулись невероятно долго, единственный плюс, что на них я понимала все, намного больше, чем в английской школе. Я понимала все, и все это было скучно.

Мама работала дома: писала портреты и абстрактные пейзажи, и в принципе могла это делать из любой точки земного шара, распахивая свой планшет как пудреницу, а Вера, как я уже говорила, была врачом. Ее белый халат в темноте светился и походил на гору, когда она шепотом входила в мою комнату поздней ночью после дежурства, на белую гору Монблан, которую я по незнанию и детской наивности перевела однажды с французского как «мой белый», когда мы взбирались на жестких цепях к зимнему домику, чтобы наутро спуститься.

Противоречие – вот что я бы сказала о своем детстве. Всю первую половину моей жизни они поднимались, чтобы в последующие годы только спускаться и спускаться – в разных

саниях и с разной скоростью. Там, на горе, точнее, у ее подножия, я впервые почувствовала, что значит счастье: проснулась утром, ослепла от солнца и снега, от запаха гвоздики и дыма, от жара натопленной печи; побежала в спальню, расплескиваясь, звеня этим новым чувством, булькая, словно чайник. Мама и Вера обняли меня, завернули в одеяло, как шаурму. Мы хохотали, а впереди был еще целый день – еще один день вместе. Я натянула сапоги и выскочила на улицу – растерла в ладонях крупный, кружевной снег. Никогда после этого дня я не видела такого белого снега. Никогда после этого дня мы не были счастливы втроем.

Вера была хорошим врачом: к ней вставали в очередь. В поисковике я нашла 48 страниц с отзывами о ней. «Вы стали нам почти что родственницей», – писали ей совершенно незнакомые люди. «Мы назвали дочь в вашу честь». Я читала и думала: как ее хватает на всех? Вера была почти что богом в своей будничной, ежедневной работе. Она давала людям детей, благословляла их вслед, происходило волшебное, и в них зарождалась жизнь. По крайней мере, пока я не узнала всю правду об экстракорпоральном оплодотворении и моем собственном появлении на свет, я во всем видела божью искру. Спасибо французской воскресной школе, куда родители отправили меня, чтобы спокойно заниматься сексом по утрам воскресений. Пока я верила в божественное зарождение, они производили земное старание, не имеющее с чудом ничего общего. Если только Вера не приложит к этому руку.

Мама тоже восхищалась способностями Веры. Она, создающая только цвета и фигуры, восторгалась тем, что Вера делает настоящее. Тогда она не упрекала ее за поздние возвращения домой или ранние уходы, за внеурочные душевные беседы с пациентами, за цинизм и здравый смысл, присущие врачам. Но вряд ли мама сказала бы именно так. Она просто ее любила.

Глава 3

Мама

И мама была маленькой девочкой, потом средней, потом выросла и встретила Веру. Но все-таки не сразу это произошло, не так быстро, как я это написала. Сначала было царство прабабушки. Она управляла всем: домом, школой, автомобилем «Москвич». Управляла и мамой – маленькой девочкой с тугими косичками. Косички завязывали утром, развязывали вечером, после чего на голове появлялось море. Оно волнами накрывало уши и плечи, жаль, что никогда не держалось долго. Девочку звали Сашей.

Она не любила это свое нелепое бесполое имя. Однако и мне досталось такое же. Объясняли просто: «Мы не знали, кем ты родишься, но нам было так сложно договориться, что на два имени нашего терпения не хватило».

Мама Саши, моя бабушка Марина, не собиралась становиться мамой, ни Сашиной, ни чьей-то еще, по крайней мере так рано, но Саша ждать не стала. Она всегда все делала по-своему и меньше всего на свете любила ждать.

В отличие от меня – в этом умении я превзошла бы всех. Марина довольно быстро обзавелась умением кружить головы мальчикам, у нее как раз море на голове не переставало – оно шумело всегда, и его не нужно было сдерживать ко-

сичками. С подружками на первом курсе института они повадились гулять с моряками из училища Фрунзе и не одну ночь провели в подсобных помещениях гостиницы «Советская», куда их пускал знакомый портье.

«Фрунзе» стоял к гостинице стенка к стенке, и девчонки ждали под окнами, когда моряки сойдут на сушу со второго этажа, а потом бежали к «Советской». Там они заходили в ресторан, чтобы, нырнув в его кишочки, пройти насквозь и выплыть к черному входу. Там ждал портье, Серега Копейка, который просто собирал по 10 копеек с каждого и открывал потайные двери.

Пыльно пахли старые ковры, скрипели несмазанные пружины матрасов, слышно было, как пьяные на улице кричат, заблудившись в недрах Обводного. Там, под тихий отблеск ночного уличного фанаря, бабушка Марина и сделала Сашу, совершенно того не загадывая, с молодым старшиной первой статьи, имя которого утратилось в складках времени.

Прабабка была вне себя – она не могла поверить, что всей своей властью и силой не смогла защитить дочь от самого банального поступка безудержной молодости. Но Сашу она полюбила сразу.

«Воспитывать ее буду я», – коротко сказала она на втором контрольном УЗИ, когда все стало ясно про пол ребенка. «Ты уже воспитала меня», – усмехнулась дочь. «Отцовская порода», – коротко сказала мать, и стало ясно, что лучше не продолжать. Отец ушел от беременной бабушки на самых

последних месяцах, и его имя в семье было предано анафеме. По всей этой долгой линии вплоть до меня ни у одной из женщин нашей семьи не было ни мужа, ни отца. Я, стало быть, собиралась эту добрую традицию прервать. Но как мне это сделать, Леня?

Когда родилась я, бабушка Марина приехала с курорта посмотреть и сказала: «Хотела тебя осудить, но не стану: слишком красивая внучка. Но зовет пусть меня Мариной». Прабабка до этого момента не дожила – иначе бы прокляла весь свой род. Одно дело блудная дочь, а совсем другое – плод запрещенной любви. Бабушка Марина оказалась мягче, воспитанная деспотичной матерью, она знала цену свободе и недуманным поступкам.

Моя бабушка не из тех, кто с рождением внуков начинает сажать в теплицу клубнику – пару раз в год мы ездили к ней в Петербург, в обвешанную картинами и антиквариатом квартиру на Петроградской, где у нее постоянно были то литературные вечера, то музыкальные гостиные. «Я – бабушка-праздник», – говорила Марина и преподносила мне какую-нибудь бижутерию в бархатной коробочке – то колечко, то сережки, то браслетик с камушками, приговаривая, что я должна быть красивой принцессой.

Мама злилась и говорила, что нынче не в моде «принцесственность» и я сама должна понять, что мне нравится, а Марина берет и портит мой вкус, не оставляя мне выбора. «Кто бы говорил, Сашенька, – морщилась бабушка. – Ты-то не дала

ребенку даже выбрать нормальную жизнь».

Но все же Марина мамой очень гордилась. Как только она увидела, что та проявляет интерес к рисованию, сразу же нашла ей лучшую художественную школу, заложила сережки с бриллиантами, чтобы купить ей мольберт и краски – самый большой набор «Белые ночи» в Гостином дворе.

Саша рисовала и ждала: успехов, выставок, любви. И она пришла. На высоких каблуках и со стальной осанкой. Подходила близко, рассматривала работу в деталях, придиралась. Наклонялась над самым ухом, чтобы сказать о недостатках – то теней, то света. Все время пахло коньяком. Потом брала руку Саши, прижимала ее к холсту, спрашивала: «Чувствуешь?» Саша чувствовала; чувствовала, что ноги становятся ватными, а в горле теряется вздох. На том курсе Саша написала первое большое произведение – трилогию света. Сашина зазноба была крайне довольна, высказалась в том смысле, что вот уже пятнадцать лет здесь преподает, а такого еще не встречала. «И рука, – говорила она коллегам по цеху, сдавая ученицу на выставку в Манеже. – Обратите внимание, как уверенно стоит рука, будто пианистка, а не художница». О Сашиных чувствах она так и не узнала.

Чтобы выигрывать городские конкурсы, выставляться в галереях и продавать работы, Саше нужно было немного любви. Простой рецепт. И Саша его усвоила.

Глава 4

Писать

«Сегодня весь день думала о тебе. Решила сварить макароны, а на пачке зашифровано сообщение для меня. Там написано, что альденте – это внешняя готовность при твердой сердцевине внутри. Да это же про тебя!

Ты мой белый снег, мой тихий шепот, звук шагающих по земле часов, исчезающего времени, мой легкий выдох после трудного вдоха, глоток воды в момент ночной жажды, когда бежишь на кухню с тем единственным желанием – успеть замерзнуть, чтобы после так сладко и уютно отогреться под одеялом.

Твой белый халат. Помню тебя в нем еще в самом начале, когда ты проходила практику и мы покупали отбеливатели – каждую неделю. И я говорила тебе: купи большую пачку, ну и что, что она дороже, все равно ведь она закончится, и придется покупать новую, так ведь выгоднее, ты не понимаешь, что ли?

Ты целовала меня, смеялась, брала самый дорогой, но невыгодную маленькую пачку и говорила: глупая, большая все равно ведь не влезет под раковину в ванной, куда я ее поставлю, по-твоему? На пол? Ну уж нет.

Твоя эта аккуратность. Почему я по-прежнему представ-

ляю тебя в белом халате? Чаше ты надевала синие, фиолетовые, красные и цвета морской волны брючные костюмы из магазинов «Доктор плюс», иногда с большими вырезами, один край которого отклонялся сильнее из-за прицепленного к нему бейджа. Доктор В. А. Лисневич. Мой любимый доктор. Я знала, что пациенты заглядывают тебе в этот вырез, а потом присылают цветы, но ты говорила: это называется перенос. Они думают, что влюблены в меня, а на самом деле просто передают ответственность.

Люди доверяют тебе свои жизни, как же им не влюбляться в тебя?

Это как в детстве влюбляются в эстрадного певца, страстно мечтают выйти за него замуж, целуют плакат на стене, говорила ты. Кстати, это неприятное ощущение, когда целуешь плакат – стена холодная, и губы его – холодные и твердые, я знаю, я целовала. Но ведь он не человек даже, то есть и любишь ты не человека, ты любишь что-то, что тебя наполняет. Как вода, как груши, как стейк, как музыка, как врач.

Чем же наполняет врач?

Врач наполняет надеждой.

Ты переносишь на него свою веру в чудо, ты делаешь его спасителем, ты хочешь его получить.

С детства я думала, как здорово было бы иметь рядом своего врача, не просто семейного на кнопке быстрого вызова, а своего – чтобы посмотрел и сказал: все будет хорошо, это несерьезно, сейчас достану таблетку.

Доктор Вера Лисневич, ты вырвала из груди мое сердце, и оно перестало болеть. Помню, как первый раз снимала с тебя эту дурацкую форменную футболку. Я стягивала ее через голову, а под ней ничего не было. Твой бейджик запутался в волосах, но ты смеялась от того, какой нелепой получилась ситуация: ты – руки вверх – с футболкой на голове, как заложница. Если бы я снимала с тебя эту футболку еще раз, и этот раз снова был бы первым, я сначала отстегнула бы бейджик».

Нехорошо читать мамины письма, но я читаю. Меня не учили не читать чужих писем – я выросла в эпоху, когда люди ведут блог в Фейсбуке, чтобы с кем-то поговорить. 38 540 подписчиков в мамином Инстаграме увидели меня раньше, чем я осознала, что это я. Мама выкладывает в среднем по три мои фотографии в неделю, а я читаю ее письма. Вера постит мои фото реже, но ее письма я читаю тоже.

Совет: когда у вас в доме подросток, прячьте письма не столько высоко, сколько глубже. Придумайте место, куда ему не захочется заглянуть. Если бы я хотела спрятать от мамы письма Лене, я бы спрятала их в старую супницу, которую Марина подарила им на очередной переезд. Да я, собственно, так и сделала: мои письма Лене, которые я так и не отправила, лежат в супнице. Думаю, их обнаружат только в том случае, если от старости она рассыплется в пыль.

Мамины письма я нашла у Веры в старом чемодане. После переезда от нас она его так и не разбирала. «Я побросала туда

всякий хлам, поищи там», – сказала Вера, когда я спросила, где могут быть мои детские рисунки, которые я день за днем рисовала для каждой из них.

Письма Веры лежали у мамы на полке с нижним бельем. Моя мама всегда отличалась оригинальностью, но только не по части того, где хранить письма бывшей любовницы. Когда я случайно наткнулась на письма у Веры в чемодане, мне оставалось просто открыть ящик комода.

«Малышка, сейчас я начну писать и сделаю сразу четыре глупые ошибки, ты возненавидишь меня и больше не захочешь встречаться. Зря ты попросила меня писать от руки – в этом случае я не могу прогнать свою писанину через Ворд. О чем тебе рассказать? Я сижу в кабинете, жду пациента, пациент опаздывает, я могла бы пойти пообедать, но вместо этого должна сидеть и ждать – такая у нас работа. А за окном второй час бессмысленно падает снег».

Что я помню о снеге из наших путешествий? Он не всегда был белым. Однажды в Москве я отчаянно любила снег: после полугода в дождливом Лондоне я хотела его съесть, упасть в него, кидать за шиворот и маме в сапоги, я хотела весь этот снег, и весь он был мой.

Мы жили в центре города, и я ложилась в снег, как только мы выходили из дома, иногда он был твердым, как лед, иногда в нем встречались окурки, они проступали, как неведомые растения по весне, и я все время была в придорожной грязи. Потом он стал таять и потек по моим ногам, я прыга-

ла в лужах, и он покрывал меня сизыми брызгами, я бежала на улицу, чтобы увидеть снег, но видела лед, и метровые сосульки, как бороды лесных царей, и глубокие лужи в расщелинах грязных дорог. Если бы я выбирала дом, я выбрала бы иглу. Чистейший снег Монблана был куда мягче и тоньше, чем все мои мысли о нем.

Маме прекрасно удавались снежные пейзажи. Из ее картин я узнала о том, что существуют тысячи оттенков белого: множество теней заставляет белое стать объемным и обрести форму. Мамино белое было таким разноцветным, что тянуло на целую палитру: белое солнечное, белое пасмурное, белое утреннее, белое после полудня, белое под ногами, белое на горизонте, белая кожа возле ключицы, белое запястье, белая тень между лопатками, белое после стирки, белые следы чьих-то проворных лап, белая стена, у которой стою я, и мама говорит: ну не дергайся, пожалуйста, дай мне закончить хотя бы один портрет.

Там, у подножия Монблана, мама нарисовала нас, точнее, наши тени: мы падаем на снег, и как будто нас тянет вверх, к солнцу – меня, маму и Веру, и только одно нас держит на земле – не гравитация, а то, что мы держимся друг за друга. Эта картина называется «Белое объятие». Мама продала ее за четыре тысячи евро там же – на курорте. Вера смертельно обиделась, что мама продала ее, не спросив. Я тоже расстроилась, но потом поняла, что важнее, чем коллекционировать собственные работы, маме было чувствовать свою востребо-

ванность. Картину я сфотографировала.

Теперь и она в моем музее воспоминаний.

Глава 5

Они

Мама и Вера в моем детстве часто рассказывали мне о своем знакомстве. Было так: мама пришла на вечеринку к своему однокурснику по художественной академии, Андрею. Она была девушкой лучшего друга Андрея, поэтому и пошла. После песен под гитару и бутылочки дешевого порто вышли на балкон. А там сидела Вера. Видимо, спасаясь от скучной вечеринки.

– Эй, – позвала мама. – У тебя есть сигарета?

– Есть, – сказала Вера и протянула пачку.

– Спасибо, – кивнула мама, выудив одну, и ушла. Потрясающая история. Они всегда смеялись, когда рассказывали мне.

– Ну, я курила в сторонке и приглядывалась к ней, понимаешь. Интересным мне показалось то, что в итоге мы обе не курили. Просто это было модно, легче завязываются знакомства. И вот я смотрела на нее и думала: а кто это вообще? Спросила у своего тогдашнего бойфренда. Он сказал: а это сестра Андрюхи, врач. И я подумала пошутить, типа я такая смелая и веселая, подошла и спросила: если вот тут болит, это че? И ткнула куда-то в место очень неопределенное. А она так лениво дым выдохнула, знаешь, так: ффффф. И ска-

зала: где болит? И так она это сказала...

– Да брось ты! Ну как я сказала? Я просто спросила. Меня ведь постоянно этим доставали – в медицинской тусовке такие дурацкие шутки не проходят, а тут ваша была, сверхбогемная... Я даже растерялась, как ответить.

– Ну и что? Но ты же меня соблазнила этим своим «где болит?» – у меня аж все сразу перестало болеть.

– Кое-что все же не перестало...

– Не перестало, а даже завелось!

– Ну хватит, это ужасно смешно...

– И вот она меня так спросила: где болит? И тут уж я растерялась – у меня толком никогда ничего не болело, и я не знала, где оно должно болеть, что бы это ни было, а в тот момент я и вовсе пьяная была. И я сказала: ты какой доктор? Просто чтобы что-нибудь сказать.

– А я ответила, чтобы что-нибудь ответить: терапевт.

– Ну и зачем ты соврала?

– А ты хотела, чтобы я в лоб тебе сказала, что гинеколог?

– Поверь, я тогда даже не знала, что это за врач. У меня врачи делились на два типа: зубной и простой.

– Не смейся.

– Это ты смешная.

– Словом, ты была такая идиотка, да?

– Как будто.

– Ясно.

– Но даже если бы ты была проктологом...

– Ясно.

– Ты бы все равно...

– О, не продолжай!

– Ты бы не ушла от меня в тот вечер.

– То есть кто такой проктолог, ты тогда уже знала?

– Нет, зато я знаю сейчас.

– Ясно.

– Я выучила медицинский справочник, когда мы познакомились.

– Понятно.

– Потому что я влюбилась.

– Я поняла.

– Нет, ты не поняла и до сих пор не понимаешь.

– Угу.

– Я просто хотела стрельнуть сигарету.

– Стрельнула?

– Я люблю тебя.

– Я люблю тебя.

Потом они все время целовались, а я начинала скучать и шла в свою комнату играть в игрушки: что может быть скучнее и наивнее чужой любви? Конечно, тогда я этого не понимала, а просто стояла и думала: «Маам, мне скучно!»

Я же не знала, что это закончится. Что я стану забывать подробности этой истории, потому что перестану ее слы-

шать? Если бы я знала, попросила их повторять мне ее каждый день. Как вы познакомились, мам? Да просто на одной вечеринке. Как вы познакомились, Вер? Жень, это было ужасно давно. Кажется, она была в компании моего брата. «Кажется». Я бы хотела, чтобы в моей истории любви, какой бы она ни была, никогда не возникло ни одного «кажется». Поэтому я пишу.

Глава 6

Восемь картриджей

Всякий раз после зимы наступало лето. Лето наступало неожиданно: скатывалось сверху, немного дрожало, качаясь на ветру, а потом застывало сосновой смолой. Пахло свежескошенной травой, медовым цветом, песком и жаждой воды.

Лето везде было разным: соленым и жарким у южного моря, кололось песком и крошками, прохладным и ветреным на севере, там, где к летнему платью всегда полагалась кофта на молнии.

Финальную часть лета с десяти до четырнадцати я проводила у мертвого озера, в финской глуши, в музыкальном лагере, где впервые влюбилась. У него было длинное странное имя – Миккеле, и он был белый, как снег в горах. Его бледные скулы были все время печально напряжены, руки в ссадинах, Миккеле делал невозможные трюки на скейте и заикался, когда мы касались друг друга плечами. Признаться, я старалась делать это как можно чаще: садилась рядом у костра, пристраивалась на футбольных матчах, прижималась на скамейках запасных. У меня в голове не укладывалось, что такой смелый и быстрый парень может так бояться меня – черную от загара лиственницу с ветками-руками, которые постоянно путались в глубоких карманах. Мама всегда гово-

рила, что своих людей нужно трогать. Не в смысле приставать, но касаться. Я очень старалась, и постепенно он перестал отпрыгивать от меня, словно мяч от стенки.

Мама всегда говорила мне: диалог – лучше молчания. Если ты хочешь что-то сказать кому-то, сделай это любым доступным способом – отправь письмо, спой песню, напиши картину. И не жди ответа. Главное – скажи.

Скажу – и я решила ему признаться. На дискотеке по случаю праздника Нептуна я пригласила его на медленный танец, собрала в кулаки свою волю и сказала ему: пойдём? Миккеле замер – мгновение – вечность – и сделал свой главный шаг. Он выронил из рук свой страх и бережно обнял меня. Мы топорно двигались под какую-то древнюю скандинавскую колыбельную, Миккеле спросил, останусь ли я на вторую неделю. Я оставалась, и это было лето любви. Мы выбегали за территорию лагеря, Миккеле показывал мне расщелину в камне, в которую входит река, муравьиные горки, по которым нужно ударить ладонью, а потом облизать – будто муравьиный яд обладает целебными свойствами, учил определять время по солнцу. За все мои двенадцать лет я не встречала столько свободы одновременно.

Из лагеря я написала и маме, и Вере одно и то же письмо: попросила прислать мне средство от комаров, резиновые сапоги и полароид с двумя картриджами. «Зачем тебе два? – отозвалась практичная Вера. – Ты там не простудилась?» – «Я совершенно здорова, – телеграфировала ей я. –

Просто восьми мне не хватит на этот раз». – «Что будешь снимать?» – написала вечером мама. «Любовь», – беспечно ответила я. Они обе прислали мне по два картриджа. Четыре по восемь – тридцать две фотографии – тогда я впервые узнала, чем можно измерить любовь. Ее не измерить ни временем, ни расстоянием, ни словами, ни дорогами, ни годами – все будет неточно. Тридцать две фотографии – это понятное мне измерение. Ничто на свете я не снимала с таким упорством.

«Милая, я люблю тебя так сильно, что мне не хватило бы четырех картриджей, я извела бы их восемь», – писала мне Вера. «Я люблю тебя знаешь как! На двадцать картриджей!» – вторила мама. Мои матери тем летом сделали мем из моей любви, не оглядываясь друг на друга. Даже не разговаривая – они вторили друг другу, как чемпионки по синхронному плаванию.

Перед самым расставанием мы с Миккеле сидели на берегу заросшего озера, в который ссыпались минуты до отъезда, мои слезы и тополиный пух. На воде лежали светлые солнечные пятна, она была пыльной от пуха, который на мгновение тревожил гладь, разбегавшуюся кругами, и исчезал в мириадах таких же – бледно-прозрачных – клочках шерсти. Я смотрела, как белое одеяло накрывает пегую, пятнистую воду, и вслушивалась в себя. Внутри меня была не грусть, там было радостное, сгущенное ожидание будущего: осени, школы, великой любви. Я ничего не теряла и была абсолют-

но счастлива; я была влюблена и верила, что Миккеле станет писать, а следующим летом мы приедем сюда снова – и все повторится. Постепенно озеро стало белым, и так хотелось коснуться его. Я протянула руку, и вода обняла меня теплым, слепым глотком, и Миккеле сказал по-английски: я буду писать. И в эту минуту я поняла, что мы ничего больше друг другу не скажем, ничего не напишем, у нас останется только этот снег. Я достала полароид и щелкнула – белое на зеленом.

Я была не права: Миккеле мне написал. Я не ответила. Фотографию того водяного снега я сейчас держу перед собой. Ни одна из 30 других фотографий с лицом того парня не расскажет мне столько о том лете и той любви, как эта.

Или еще одно лето: на океане. Мы приехали туда в маленьком домике на колесах, в большом доме относительно автомобиля и маленьком, если сравнивать с домом из кирпича. Этот автодом был воплощением нашей жизни. Туда как раз влезали три коробки, холодильник еды, и он двигался в никуда.

Всякий раз, когда я ехала с рюкзачком вещей от одной своей матери к другой, я мечтала только об одном: чтобы у нас наконец появился один-единственный общий дом, чтобы у меня появился единственный чертов шкаф, сверху до низу заваленный игрушками, чтобы я однажды села перед ним и, разбирая их, деталь за деталью сложила пазл из своих воспоминаний. Вера всегда хотела, чтобы мне было легко,

поэтому мой «шкаф» и сейчас передо мной – одна набитая жизнью коробка с фотографиями.

У полароидных фотографий белая рамка, белая, как снег, который выпадал всякий раз, когда я была счастлива.

Глава 7

Он

После того озера влюбляться стало проще: я скользила по накатанной, вставала, отряхивалась и снова тащилась наверх. Везла свои саночки, полные всяких немыслимых ожиданий. Пока не столкнулась с ним.

Он стоял в школьном коридоре с гитарой в руках, какой-то невероятно взрослый и необыкновенно нездешний, вокруг него пульсировала жизнь, а он стоял как изваяние музейное, одна-единственная штука.

Вены застыли в моих руках.

Через неделю я знала все: что зовут его Леня (ужасно банальное имя для такого, как он), что он поет в музыкальной группе «Лосось и авокадо», что по понедельникам и четвергам у них репетиции, что ему 22 и по образованию он биоинженер, а по призванию артист, что осенью будет поступать во ВГИК на второе высшее, что у него 41-й размер ноги (я изучила его зимние ботинки в учительской раздевалке), что у него есть кот по имени Флинт, что у него на груди есть татуировка – бумажный кораблик, что его телефонный номер можно найти в школьной группе ВКонтакте, там, где указаны номера тех, с кем можно связаться для участия в новогоднем концерте.

Мама говорила: скажи.

И я решила пойти самым легким путем из возможных: спеть ему песню. То есть сказать все, не сказав ничего.

Я записала его номер, нашла во всех мессенджерах, открывала их по сто раз на дню, чтобы проверить, когда он был онлайн. Он всегда был онлайн несколько секунд назад, и я могла написать ему, отправить смайлик, голосовое сообщение или видео, но меня хватало только на тихие походы следом по извилистым коридорам школы.

Я не спрашивала, Леня не отвечал.

Я скачала сотню его фотографий из всех открытых альбомов, сидела вечером над тетрадкой, клетки которой становились выпуклыми и расплывались под каплями слез, с телефоном в руках и листала, листала, листала эти фотографии, пока мама не отнимала телефон. Пока Вера не выключала свет.

Я столько раз хотела поговорить с ними, спросить их, как быть, – но ни одна из них не казалась мне здесь экспертом. Как можно спросить о любви кого-то, кто сам не смог удержать и спасти любовь? Эти неудачницы, эти одиночки, эти несчастные. Как я жалела их и как на них злилась.

Только однажды мама спросила меня, отчего я плачу. И я сказала ей:

– Вряд ли ты что-нибудь в этом понимаешь.

– Неужели? – мама посмотрела на меня так, что стекла в ее поддельных очках без диоптрий задрожали. – Плачешь

из-за логарифмов?

В школе я отпрашивалась с урока, пробиралась в раздевалку и обнимала его вязаный свитер. Этот запах – как бы вам рассказать о нем – сандал и лаванда, свобода и ветер, резкий шаг и дерзость, сигаретный дым и упрямая кожа, предчувствие близкой грозы. Я не знала, что это было – туалетная вода, мыло или кондиционер для белья, но это помогало мне, как хищнику, напасть на след и вызывало ломоту в пальцах.

В понедельник после третьего урока я написала в комментариях к посту про школьный новогодний концерт, что хочу участвовать. Что буду петь песню и хотела бы, чтобы он подыграл. Он и «Лосось и авокадо», разумеется. В понедельник после пятого урока я получила уведомление. Он написал: «Оке, приходи в четверг на репу».

Мама говорила – скажи, но не предупреждала, что мне ответят.

Я стояла на входе в столовку и чувствовала, как все вены в моих руках заискрили и стали горячими, как пюре. И такими же мягкими. Я села на лавочку, потому что ноги дрожали, и сделала скрин этого сообщения, проверила, точно ли он сохранился, перечитала его, а потом перечитала снова. Если бы меня разбудили ночью, я могла бы продекламировать этот ответ и записать его с закрытыми глазами невидимыми

чернилами.

Он мне ответил, и это начало всего.

Глава 8

Мы

К первой репетиции я готовилась, будто к свадьбе. Вера согласилась поехать со мной в магазин и купила два новых платья. Одно было одновременно праздничное и спокойное, сдержанно блестело и лежало на мне, как чешуя серебряной рыбы. Второе – серое, платье-мешок без особых примет. Я хотела, чтобы Леня сразу меня запомнил, какая я модная, какая стильная. Вера сказала, что классно было бы надеть с этим красные колготки, как часто делала моя мать, но я заверила ее, что мода на безумие давно утихла.

– Мода на безумие никогда не утихнет, деточка, – сказала Вера. – По крайней мере, я только вчера видела такое смелое явление в жизни.

– Где же? – я ковыряла носком «Мартинса» плитку торгового центра, нетерпеливо ожидая лифта, чтобы спуститься на паркинг.

– Да в одном баре.

– В баре?

– Ну да, ходила, знаешь ли, на свидание.

Я оторвалась от плитки.

– Ты ходишь на свидания?

– А я похожа на совсем древнюю старуху, да?

– Нет, но... Просто неожиданно как-то.

– Честно говоря, я сама не ожидала. Но я же установила тиндер, а там...

– Нееет, Вера, ты что, знакомишься по интернету?

– А где ты мне прикажешь знакомиться? С пациентками на гинекологическом кресле?

– О боже.

– В общем, если тебе интересно, я познакомилась с одной девушкой, у нее были красные колготки и зеленое платье, и я даже, вероятно, увижусь с ней еще раз.

– Вероятно?

– В субботу, если быть точной.

– А сколько ей лет?

– Нормально.

– Вера...

– Ну, она старше тебя.

– Это обнадеживает, но...

– Не води себя как полиция нравов, мы уже взрослые люди. Ты взрослая? Я могу обсуждать с тобой серьезные вещи?

– Я до фига взрослая, но не заставляй меня залезать в твой телефон, когда ты уйдешь в душ...

– В таком случае я возьму телефон с собой.

– То есть ей что, 18?

– О.

– О?

– Как бы там ни было, 18 – это совершеннолетие.

– Да, но это как бы... Моему парню почти 23.

– Твоему парню?

– Ну, не парню...

– Не парню?

– Короче, я хотела бы, чтобы он был моим парнем, но пока он еще об этом не знает.

– Хочешь получить совет?

– От женщины, которая встречается с юными красными колготками из тиндера? Нет уж, спасибо.

– Я не встречаюсь, я сказала, что встречусь с ней в субботу.

– Точно, а не вероятно.

– И тем не менее я хотела бы дать тебе совет.

– Кто ж тебя остановит.

– Никогда не говори «мой парень», потому что, когда вдруг выяснится, что он не твой, будет чуть больше, чем было бы, если бы ты так не говорила.

– Чего?

– Словом, просто не говори «гоп».

– Спасибо за поддержку, мать!

– На самом деле я верю, что у тебя все получится.

– Звучит не очень.

– Я тебе очень этого желаю, правда. Но в жизни бывает...

– Заткнись, я тебя умоляю. Я устала слушать о том, как вы были счастливы, а потом оказалось, что все не так.

– Ну, у тебя-то так не будет.

– У меня не будет.

Мы немного помолчали, пока Вера пыталась припарковать машину в темноте у подъезда.

Потом я спросила:

– Так ты влюблена в красные колготки?

– Это имеет значение?

– Для меня имеет.

– Как приятно быть в возрасте, когда это действительно имеет значение.

– Ты старая карга.

– Да.

– Старая карга, которая знакомится в тиндере.

– Да.

– Ну блин.

– Выходи.

Тем вечером во мне боролись желания убить Веру и прыгать на стенку от счастья: я перечитывала и перечитывала Ленино сообщение, мучилась мыслью о красных колготках, уверяла себя, что Вера тоже может влюбиться и, наверное, так же рада предстоящей встрече, но тут же отказывала ей в этом. Мне казалось, что никто и никогда не мог и не может чувствовать так, как я, а тем более Вера, которая должна была уже просто забыть, как это делается, даже если умела когда-то. Отчего-то я испытывала даже ревность, впервые, спустя восемь лет после расставания моих матерей, – и мне

ужасно, до слез, хотелось, чтобы ничего у нее с красными колготками не вышло, но сама эта мысль казалась мне грехом, чем-то страшным, что лишит и меня возможности счастья. Поэтому, перед тем как лечь в постель, я вместо «спокойной ночи» разрешила Вере:

– Так и быть, можешь спокойно встречаться со своими красными колготками.

– Да? Ну спасибо тебе большое, дорогая.

Вера засмеялась и чмокнула меня в висок.

– В следующий раз я обязательно спрошу у тебя разрешения, когда захочу зайти в тиндер. Скажем, сегодня вечером. Сегодня вечером я могу немного походить по тиндеру перед сном?

– Вера, не беси.

– То есть ты не против, да?

– Вееееер!

Вера, смеясь, вышла из комнаты, а я сказала ей вслед – шепотом, так что она наверняка не услышала:

– Только чтобы никому не было больно, ладно?

Глава 9

Другие

Мама я ничего не сказала.

По всплескам написанных ею картин я знала, что она тоже постоянно находится с кем-нибудь «в диалоге», как она это называла. Самая длительная ее связь продолжалась два года, когда мне было лет десять – это был нервный и странный мужчина – маленькие мрачные пейзажи и сумбурные закаты – он приезжал к нам на черной машине и привозил мешки с продуктами. Мама ласково звала его «гуманитарная помощь» или «Санечка». Санечка приезжал и готовил ужин, играл со мной в настолки, дарил мне розовых куколок.

– Хочешь, Санечка станет твоим папой? – спросила как-то у меня мама.

– Зачем? – искренне удивилась я.

– Ну... Чтобы помогать тебе делать уроки, учить разным хорошим вещам...

– У меня есть Вера, – сказала я и на всякий случай отодвинула от себя розовых Санечкиных куколок. – Она меня всему научит.

Мама усмехнулась, а Санечка вскоре исчез.

На его месте возникли картины поярче – огромные изумрудные полотна, на которых из тусклых мазков вылепля-

лось страстное, розовое тело Аниты. Анита изгибалась и изгибалась для маминых картин, приходила и приходила к нам на ужин, они все ходили на выставки и презентации, а мама спрашивала:

– Нравится картина?

– Картина как картина. Только мне в комнату не вешай.

Мама и Анита заливались в хохоте, расплескивая вино.

– Ну что ты, дорогая, это же неуместная живопись для детской.

– А для чего она уместная? Для бани?

– Для бани, пожалуй, в самый раз!

И они снова хохотали, а я никак не могла взять в толк, с чего тут веселиться. Картины с голыми женщинами же и правда уместны в бане, что тут смешного-то?

Одну из этих картин у мамы купил один американский банкир, купил очень дорого, так что она могла год не работать.

Я слышала, как однажды по телефону Вера говорила кому-то:

– Мы давно не общаемся. Вообще не разговариваем, так что я не знаю, что у нее нового. Да и, с другой стороны, что там может быть нового? Продала тут очередную свою шлюху на аукционе.

На самом деле «шлюха» была отличная. То есть это была хорошая картина. На ней мама разлила всю свою тоску по Вере и одиночество – так ярко, как только могла. Я спросила ее:

– Неужели ты не видишь, что мама пишет эти картины, чтобы тебе сказать?

– Сказать что?

– Что ей без тебя невыносимо.

– Дорогая, не выдумывай. На этой картине она нарисовала другую женщину.

– В этом-то все и дело.

– В чем же, позволь узнать?

– В том, что она не может рисовать тебя.

Вера помолчала минуту, будто что-то вспоминая, а потом сказала:

– Ты знаешь, она ведь перестала меня рисовать, наверное, за год до нашего разрыва, так что вряд ли там было что спасать.

– О чем ты?

– Это был вопрос времени, Женя. Иногда лучше сразу шагнуть в холодную воду, чем годами готовиться к погружению.

Я никак не могла взять в толк, к чему эти водные метафоры.

– О чем ты говоришь?

– Если бы не расстались тогда, расстались бы через пол-

года, может быть, через год. Нашлась бы причина.

– Ты не можешь знать, как было бы, ты же не ясновидящая.

– Я здравомыслящая. Люди не изменяют просто так, измена вообще дело затратное. Если человек идет на это, значит, ему уже невыносимо терпеть.

– Мама говорила, что это вдохновение...

– Как ни назови – смысл один: ей меня уже было недостаточно. Или много.

– Это противоречиво.

– И тем не менее.

– Ты думаешь, она тебя разлюбила?

– Любовь – сложная штука. Возможно, она просто от меня устала.

– Но вы могли просто отдохнуть друг от друга.

– Когда людям нужно друг от друга отдыхать, это тревожный симптом.

Глава 10

Петь

В пятницу я стояла в школьном коридоре, и сердце мое в ушах забивало сваи. Судя по звукам, которые доносились из актового зала, Ленечка уже пришел и репетировал со своим рыбно-овощным ансамблем. От уроков по случаю общественной нагрузки меня освободили, двери были не заперты, и я, сложившись пополам, стояла, просунув голову в щель. Будто так я стала совсем незаметной – в сером своем невидимом платье.

– Жень, ты че? – я аж подпрыгнула, когда моя лучшая подруга Алька дернула меня за рукав.

– А... Это... Смотрю, что у них там.

– Ну-ну, – Аля подмигнула и, отодвинув меня, заглянула внутрь.

– Твой, что ли, задвигает, не вижу отсюда?

– Угу.

– Ну заходи тогда, не тормози! – и Аля впихнула меня внутрь, так что я неловко влетела и задела горку сложенных у стенки стульев. Стулья с грохотом развалились, и музыка смолкла. Все посмотрели на меня.

Неплохое начало.

Я застыла на своих ледяных ногах, и было слышно, как скрипят суставы пальцев в жесткой ловушке «Мартинсов».

– Привет, ребята! – сказала Алька. – Вы нас простите, пожалуйста, такая неловкость. Это Женя. Возьмите ее в кружок, – она больно толкнула меня в спину. – Она будет петь.

– Привет, – прошелестела я откуда-то из-под паркета.

– Привет, – сказал кто-то.

– Понятно, – сказал кто-то другой.

– Что будешь петь? – спросил кто-то еще.

– Угу, – кивнул Леня.

Леня сказал мне «угу».

Он увидел меня, посмотрел на меня, заметил меня и сказал мне «угу». Для счастья, в сущности, так мало нужно.

– Девчонки, вы пока там сядьте, – сказал высокий кудрявый парень на басу.

– Мы сейчас со своим закончим и прослушаем все, хорошо?

Аля толкнула меня в сторону скамейки и потянула за рукав, как тряпичную куклу, чтобы я села. Мои ноги отказывались сгибаться, и Але пришлось на меня по-змеиному зашипеть.

Леня играл как бог. Честно говоря, он все делал как бог: стоял, пел, держал гитару в руках, смеялся, молчал и, конечно, говорил «угу». Во всем этом было нечеловеческое, божественное начало, все это отливало светом и отдавало мне под дых, как автомат после выстрела.

Ленины руки произносили музыку, а рот слова, и я впадала в транс, мне уже слышался в этом диалог, и хотелось ответить – вставить слово после долгого, оглушительного монолога, когда хочется и возразить, и горячо согласиться, и просто что-нибудь сказать.

Наконец он доиграл, выпил воды, погонял ее от щеки к щеке. Дернул плечами, как отряхивающийся дог, подошел к микрофону, и голос его заполнил весь зал:

– Ну чего там. Женя, да? Что будешь петь? Иди сюда и рассказывай.

Мама говорила – скажи, но не предупреждала, что спросят сами.

– У меня есть слова, но они странные, музыка – есть наброски, – я говорила быстро, взбираясь на сцену по боковым ступенькам, глаза – в подвал.

– Странные слова? Это как?

– Ну, в смысле, они не дописаны, есть только один куплет...

– Сможешь на клавишах показать? Или тут, – он протянул мне свою гитару.

Я машинально взяла ее в руки, ничего другого не оставалось. Дают – бери. Она была теплой и немного шершавой. И еще тяжелой. Я подумала, что это слишком – держать в руках себя и гитару – обеих вместе.

– Лучше на клавишах, – быстро сказала я и воткнула гитару в ножны у края сцены.

– Ну ок, – кивнул Леня.

– Пацаны, попробуйте схватить на лету.

Я тихо проскользнула по клавишам дрожащими руками.

– Это типа первая часть, потом должен быть припев, – я проскользнула еще раз. – Потом еще пару раз так, я думаю, но, может, что-нибудь другое здесь...

– погоди, – Леня взвалил на себя гитару. – Давай еще раз сначала и погромче. Саш, подними ей звук. Я сейчас попробую сразу на гитару положить, а ты – кивнул ударнику – ты мне подыграй.

Тот взмахнул своими волшебными палочками, нехотя отложив бутерброд. Я снова заиграла мелодию, которая тут же стала казаться мне отвратительной. Но Леня вдруг взял ее себе – уверенно и жестко, и тут же включились ударные, и

появилась музыка.

Я много раз наблюдала за этим волшебным превращением гусениц в музыкальной школе, но никогда не видела настолько красивой бабочки.

Она парила под потолком. Моя музыка. Мои несказанные слова.

– Пой, – закричал мне Леня. – Давай!

Я подошла к микрофону. Горло сжалось, в гортани толпился воздух. Потом я услышала свой голос.

Мама говорила – скажи, но не предупреждала, что будет так громко.

Мы повторили этот фокус три раза.

– Здесь я бы иначе сделал, – сказал мне Леня. – Типа того.

И он положил свою руку на клавиши рядом с моей. Его пальцы зашагали вместе с моими, а потом споткнулись о них. Я обожглась и спрятала их в карман.

– Вот тут, – сказал он, не заметив моей неловкости. – Я бы вот тут остановился, сделал бы паузу, а потом снова сыграл этот проигрыш.

Я кивнула, не поднимая глаз.

– Хорошо? – спросил он. – Нравится тебе?

– Очень, – прошептала я, рассматривая свои шнурки.

– Ну ок тогда, – сказал Леня и показал мне большой палец своей идеальной руки. – Я запишу партии, в воскресенье подходи, прогоним еще раз.

Я улыбалась как идиотка.

– Классно было, слушай, – Аля тянула меня за рукав по направлению к столовке. – Он так смотрел на тебя, офигеть!

– Да ты ж не видишь ничего! – сказала я, хотя понимала, что спорить тут не с чем: он на меня смотрел.

– Дело в шляпе, подруга, он точно уже запал на тебя! А мне тот кудрявый понравился, дрищ. Как его зовут, не запомнила?

– Не-а, – улыбка с моего лица не сходила, а только разрас-талась вширь.

– Ладно, чего с тобой говорить, ты же совсем кукушкой поехала, – толкнула меня Алька и сказала: – Когда у вас с ним все случится, ты скажи мне!

– Да Аль!

– Не, ну а че. Рок-звезда! Одними поцелуями не отдела-ешься!

– Аля, я песню ему спою. С ним спою, представляешь?

– Ага. Охренеть!

– Не понимаешь ты ничего!

– Зато я вменько, а ты ебанько!

И Алька забежала в столовку, расталкивая очередь, пет-ляя между столами. Я за ней – как будто мы снова дети, а взрослые злятся и говорят:

– Спокойнее, аккуратнее, девочки, ну-ка.

И я слышу Алькин смех, и оттого еще смешнее делается, и мы путаемся в чьих-то ногах, стульях, и я уже совсем не могу сдерживаться — смеюсь, смеюсь, пока учительница физики не делает нам замечание; и нас с позором изгоняют из рая, и мы стоим в коридоре у раковин и не можем отдышаться от смеха и счастья, заставшего нас врасплох.

Глава 11

Люди

«Одно из наших первых свиданий было у тебя дома. Мы собирались поужинать, а потом посмотреть кино, но тебе постоянно звонили пациенты, и меня это страшно бесило ровно до одного момента... Ты повернулась ко мне спиной и стала переодеваться, снимать свою рабочую робу, чтобы надеть домашнее. Так я узнала: лифчик ты не носишь, трусы на тебе – белые. Под белыми же штанами. Редко так бывает, но бывает и так. Я смотрела на тебя, а ты, как специально, – неприлично долго надевала эти свои домашние шорты.

– Пойду заверну кастрюлю в одеяло, – сказала я твоей спине, чтобы скрыть неловкость до того, как ты обернешься, и тут же почувствовала себя старой бабкой, которая заворачивает кастрюлю, а еще варит компот и закатывает банки. Я шла и знала, что ты смотришь мне в спину, хотя я вся одета наглухо и ничего у меня видно, и трусы синие, а сама я в красном. Так тоже бывает, и так – даже чаще.

Потом ты выключила телефон, мы поели остывший ужин, кино не досмотрели, потому что нас сломала страсть. Кажется, это была какая-то «Матрица» – идеальный фильм для того, чтобы начать что-то смотреть, а потом бросить, не жалея. Я все время думала о том, что ты знаешь, как устроено мое

тело, а я совсем не знаю, как устроено твое. Я спросила:

– Тебе помогает в сексе твое знание анатомии?

Ты засмеялась и сказала:

– Мое знание анатомии помогло бы мне, если бы я решила вскрыть тебя ножом.

Я не знаю, помогло ли оно тебе, когда ты меня вскрывала. Вытягивала из меня все жилы и рвала все нейронные связи – своим молчанием. Своим непощением. Своим уходом. Помню, как я позвонила тебе после расставания и сказала:

– Вера, мне очень плохо.

– Будет лучше, если ты больше не станешь мне звонить.

– Ну помоги же мне, пожалуйста!

– Я не могу тебе помочь.

– Ты же врач!

– Ты не больна.

– Мне записаться к тебе на прием?

– Просто положи трубку и ложись спать.

– Я не могу без тебя, Вера.

– Спокойной ночи.

– Не могу.

– Я кладу трубку.

– Ну разумеется. Чего еще ждать от человека, который точно знает, куда воткнуть нож?

– Это ты воткнула нож. И самое страшное, что ты дилетант – если бы ты знала, куда, я бы не мучилась.

– Впредь встречайся только с коллегами.

– Спокойной ночи.

И ты положила трубку. Твоя эта хладнокровность.

Однажды я спросила тебя, почему ты решила стать гинекологом. Это хороший вопрос – мне в самом деле непонятно, как можно сделать именно такой выбор. Ты сказала, что твой отец... Твой деспотичный и совершенно не тонкий отец, военный врач, который так и не принял тебя, так и не понял, так и не отпустил, с которым ты тысячу лет не общаешься, Верочка, мне так хотелось тебя от него защитить, когда он звонил тебе и орал на тебя, когда обещал, что всем твоим коллегам расскажет, куда ты скатилась, как живешь и как это стыдно. И как ты держалась, как ты сдержанно улыбалась и говорила: ты не хочешь ничего об этом знать, милая, забудь. Так вот это именно он решил, что ты будешь врачом. Он сказал, что если ты станешь хорошим врачом, если ты выберешь эту узкую специализацию, то он подарит тебе пистолет. Как можно было повестись? Но, конечно, ты – ребенок военного городка, десятка разных военных городков, которые вы объехали за твое бесконечное детство, мечтала о пистолете. Он был у каждого, даже у медсестры в поликлинике. И отец пообещал: пообещал тебе богатое будущее в этой профессии, хорошие перспективы и пистолет.

Я не знаю, поверила ты или нет, но именно в тебя он верил, на тебя возложил все свои надежды, ты была его главным козырем, а не Андрей, которому он разрешил, позволил

быть просто художником, ерунда какая-то, разве это профессия для мужчины? Твой отец всегда больше верил в тебя. Хотя все дело, кажется, в том, что у тебя просто тверже рука. Андрей стал скульптором, мял и мял эту свою глину, ни на что никогда не влиял – даже на форму. Годы спустя в этом твоём упрямстве, упорности, жесткости я вижу твоего отца. Он лучше всех тебя понимал и знал, что из тебя выйдет отличный врач. Он все сделал правильно, а что до вашего с ним конфликта, так это у вас семейное, и все же он должен был подарить тебе пистолет или хотя бы начать тобою гордиться».

Глава 12

Где ты теперь

Я себя без Веры не помню. Их было всегда двое: Вера и мама. Вера ее как-то уравнивала, смягчала, расслабляла. Мамина неумная энергия переливалась через край, ей всегда хотелось быть частью огромной жизни, все ей нужно было самое шумное и самое большое: город, компания, вечеринка, любовь. Вера ее одомашнивала, приручала, превращала ее страсть к жизни в страсть к семье.

Мама горела: то картина не выходит, то я себя плохо веду, то голова раскалывается, то на премьеру опять не попади; Вера ее тушила. Брала ее голову в руки, целовала в лоб, говорила:

– Милая, это все завтра уже забудется.

Мама не забывала ничего. Когда Вера ушла, она каждый день вспоминала причины, по которым им и не нужно было быть вместе: она не любила шумных праздников, а я любила! Она не хотела ходить на концерты, а я хотела! Она не переносила беспорядок, а я так устала все раскладывать по местам!

– Мама, где моя кофта?

- Откуда мне знать?
- Мама, где мои штаны?
- Спроси у Веры.
- Мама, но Вера же на работе!
- Так позвони ей.

Постепенно я поняла принцип, и вещи стали находиться. Моя врожденная тяга к беспорядку подчинялась Вериному желанию все упорядочить. И все она делала правильно, иногда даже слишком, но тут и таилась ошибка: она так сильно привязала маму, так крепко ее душила, что мама не выдержала, вырвалась и начала хватать воздух пакетами: только соврав, она могла чувствовать себя свободной.

Отбросив от себя лишнюю одежду, оставив незаправленной постель, завтракая в три часа дня, она просто праздновала себя. Вера ее такой не принимала, отталкивала, исправляла, мама себя такую любила.

Была бы мама счастлива, если бы у нее осталась эта ее свобода? Если бы никто ее не держал? Появилась бы я?

Мое появление – следствие несвободы. Я дочь ветреной заложницы и верного тирана. И еще любви.

Я спрашивала у мамы:

- Кто мой папа?
- Ветер.
- И как же я появилась?
- Подул ветер, нас с Верой толкнуло друг к другу, и по-

явилась ты.

«Видишь то бегущее облако, – сказала я Миккеле на берегу заснеженного озера. – Это я его загадала». – «И как тебе это удалось?» – спросил он меня. «Мой папа – ветер», – беспечно ответила я. Лучшие сказочники те, у кого нет ответов на простые вопросы. Например, на вопрос ребенка о том, кто он такой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.